

# «Жизнь без боли»: детская психологическая травма между советской и постсоветской модернизациями<sup>1</sup>

АННА  
ШАДРИНА

**В** этой статье я хотела бы поговорить о материнской любви. Точнее о политических значениях, которыми наделяются определенные эмоции, возникающие как аффект общественных трансформаций, связанных со вторым демографическим переходом.

В широком смысле меня будет интересовать один из парадоксов протекания второго модерна<sup>2</sup> в постсоветских стра-

- 1** Данная статья является сокращенной версией главы из моей будущей книги с рабочим названием «Дорогие дети: сокращение рождаемости и рост “цены” материнства». Продолжая начатую в книге «Не за мужем: секс, любовь и семья за пределами брака» (М.: Новое литературное обозрение, 2014) дискуссию о трансформации интимности в постсоветском контексте, я обращаюсь к опыту современниц, которые первыми сталкиваются с феноменом «репродуктивного выбора» как следствия «второго модерна» в его постсоветском варианте. В основном мое исследование касается современных России и Беларуси. Эта статья подготовлена при частичной поддержке гранта института «Открытое общество» в сотрудничестве со стипендиальной программой фонда «Открытое общество» (номер гранта: IN2014-15661). Я благодарю мою маму, Валентину Шадрину, за ее любовь и материнский труд, а также Сергея Ушакина за советы и отсылки к работам Светланы Алексиевич и Екатерины Белоусовой.
- 2** Я опираюсь на концепцию «второго модерна» в понимании Ульриха Бека, который говорит о нем как о нелинейной системе формирования рефлексивной личности в контексте трансформаций классических общественных институтов: государства, экономического класса, нуклеарной семьи, этнической группы: BECK U, BECK-GERNSHEIM E. *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. London, 2002.



**CASE  
STUDY 1**

нах – реинсталляция наследующей советскому гендерному режиму идеологии традиционного гендерного разделения, сосуществующей с новым пониманием индивидуальности, которое в нашей части света утверждается через дистанцирование от советского опыта.

Более узко я предлагаю навести объектив на причудливые конфигурации консервативной семейной политики, делегирующей матерям первичную ответственность за благополучие семей, и на риторику эмоциональной (без)опасности ребенка, распространившейся вместе с рынком психологического консультирования и обвиняющей матерей в гиперопеке или «слишком сильной любви».

Параллельно мне кажется важным коснуться практик переосмысления опыта советского детства в неолиберальных терминах и конструирования новых эмоциональных потребностей «задним числом», результатом чего является дискурс обвинения советских матерей в «дефиците выражения любви».

Центральный тезис, который я далее попытаюсь обосновать, состоит в том, что в начале XXI века социальная роль матери оказывается зажатой между двумя репрессивными институтами. С одной стороны, постсоветские государства, сокращая свое участие в обеспечении благосостоянии населения, натурализируют семейный труд посредством императива «главного женского предназначения», исключая его из традиционной экономики. С другой стороны, моральная паника по поводу детской психологической травмы, являясь стратегией бизнеса консультирования, переводит напряжение между новыми стандартами ухода за детьми и нарастающей соревновательностью на рынке труда из разряда структурных проблем в область индивидуальной ответственности женщины.

В своих рассуждениях я буду опираться на теоретическую рамку, разработанную в области социологии эмоций, автоэтнографический материал, анализ интервью с моими информантами и медиаконтент, использующий понятия «материнской любви» и «детской травмы» как дисциплинирующие категории и рекламные стратегии.

Начну с того, что известная нам эмоциональная архитектура, характерная для детоцентристской культуры, складывается ко второй половине XX века. Ее структурными причинами являются последствия второго демографического периода. Рост брачного возраста увеличивает срок пребывания детей в родительской семье, сокращение рождаемости и растущая продолжительность жизни способствуют формированию особого чувственного климата между меньшим количеством детей и родителями. Дети и родители оказываются в усло-

*Анна Шадрина (р. 1975) – магистр социологии, ассоциированная исследовательница Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета (Вильнюс).*

виях, «вынуждающих» их интенсивнее интересоваться друг другом<sup>3</sup>.

Возникающая как аффект новой структуры детско-родительской связи интенсивная эмоциональная привязанность имеет сложный характер. Асимметрия ответственности за поддержание жизнедеятельности членов семьи и общественный институт материнства, осуществляющий пристальный контроль над практиками заботы, становятся условиями для переживания противоречивых чувств, связанных с уходом за детьми – сосуществующих в родительском опыте «любви» и «ненависти»<sup>4</sup>. Изучая этот феномен в книге «Разорванные надвое», британский психоаналитик Розика Паркер объясняет, что в современных обществах «двойственность материнских чувств» является «страшным секретом». Большинство матерей предпочитают держать свои эмоции в тайне, поскольку спонтанное желание освободиться от бремени родительских обязанностей в популярном воображении приравнивается к детоубийству<sup>5</sup>. Рутинная забота за детьми редко обозначается как неоднородный опыт, в котором удовольствия сменяются усталостью, раздражением и сомнениями в себе. При этом дети отнюдь не всегда благодарны и доброжелательны в отношении тех, кто о них заботится. Таким образом, материнская работа в детоцентристской культуре вынуждает матерей балансировать между двумя импульсами: стремлением поддерживать крепкую связь с ребенком и желанием ослабить ее – считает Паркер.

В парадигме «интенсивного ухода»<sup>6</sup> материнские переживания и выражение чувств регулируются многочисленными экспертными институтами. Современный стандарт «хорошей матери» предполагает новую форму выражения материнской любви. С этой точки зрения, ребенка не рекомендуется любить «слишком сильно». Популярная медиа-риторика обвиняет матерей в гиперопеке, объясняя, что избыток материнской власти травмирует детскую психику. Однако ребенка не следует любить и «слишком отстраненно». Сдержанность материнских чувств также описывается как источник детских переживаний. Миф о возможности некоего «баланса любви», по мнению Паркер, вселяет в современных матерей печаль и тревогу.

АННА ШАДРИНА

«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»...

- 3 JONES G.W. *The Growth of the One-Child Family and Other Changes in the Low Fertility Countries of Asia* // BUCHANAN A., ROTKIRCH A. (Eds.). *Fertility Rates and Population Decline. No Time For Children?* London: Palgrave Macmillan, 2013. P. 44–50.
- 4 BROWN I. *Ambivalence of the Motherhood Experience* // O'REILLY A. (Ed.). *21st Century Motherhood: Experience, Identity, Policy, Agency*. New York: Columbia University Press, 2010. P. 121–139.
- 5 PARKER R. *Torn In Two: Maternal Ambivalence*. London: Virago Press, 2005.
- 6 О концепции «интенсивного материнства» и новом репрессивном стандарте «хорошей матери» см.: Шадрина А. *Можно ли быть «хорошей матерью»? // MakeOut.by*. 2014. 15 января (<http://makeout.by/2014/01/15/mozhno-li-byt-horoshey-materyu.html>).



Феномен «двойственности чувств» связан и со сложной структурой власти в детоцентристской семье. Без поддержки взрослых ребенок не может самостоятельно существовать все более долгое время, чему, в частности, способствует увеличение возраста детства. Текущая педагогическая парадигма, опираясь на положения о незрелости и особой хрупкости детей, подразумевает необходимость заботы и контроля. Ответственность взрослых формирует один тип семейной иерархии – во главе с родителями. Но в детоцентристской культуре понимание нужд ребенка расширяется, интересы взрослых отходят на второй план по отношению к приоритету потребностей ребенка. Многочисленные общественные институты, выступая от имени детей, контролируют соблюдение их интересов. Конструирование новой детской субъектности формирует противоположный принцип организации семейной иерархии – во главе с детьми.

**Современный стандарт «хорошей матери» предполагает новую форму выражения материнской любви. С этой точки зрения, ребенка не рекомендуется любить «слишком сильно».**

В новой культуре заботы родители и дети постоянно получают дисциплинирующие сообщения о приемлемом поведении, отправляемом в соответствии с семейными ролями. Например, в наши дни широко распространены идеи несовместимости родительства и злоупотребления алкоголем. «Хорошие родители» также не должны курить, им запрещено вести «аморальный», «нездоровый» образ жизни. Так, в парадигме «интенсивного ухода» дети не только воспитываются, но и принимают участие в воспитании родителей<sup>7</sup>.

В постсоветской части мира новая родительская культура редко рефлексирована в контексте глобальных процессов, связанных с последствиями второго демографического перехода, и в перспективе уникальных местных трансформаций. Почти не обозначены остаются особенности перехода от советской культуры эмоциональной сдержанности к постсоветскому модусу «предъявления чувств», формирующие, в том числе, новые требования в отношении матерей.

Опыт доверительного межличностного общения с целью самопознания и самосовершенствования не являлся типичной семейной практикой для поколений, заставших советскую эпо-

7 HINTON D., LAVERTY L., ROBINSON J. *Negotiating (Un)Healthy Lifestyles in an Era of «Intensive Parenting»*. *Ethnographic Case Studies from North-West England, UK* // Faircloth C, Hoffman D.M., Layne L.L. (Eds.). *Parenting In Global Perspective. Negotiating Ideologies of Kinship, Self and Politics*. London: Routledge, 2013. P. 71–86.

ху. Переход от коллективного определения смыслов и желаний, характерного для социалистического строя, к индивидуализации как капиталистическому феномену означает также и формирование нового типа индивида с новыми эмоциональными потребностями<sup>8</sup>. Новая логика осмысления личности и детоцентристские практики заботы, которые она подразумевает, встречаясь с консервативными концепциями семейных политик, действующими в части постсоветских стран, видит детей новыми либеральными субъектами, но не считает таковыми матерей. Материнство в данном контексте не рассматривается в категориях трудочасов, семейная работа натурализируется как «естественная потребность» женщин.

Далее я хотела бы подробнее остановиться на том, как текущая общественная структура, поддерживая традиционное гендерное разделение, создает условия для материнской гиперответственности за благополучие детей и одновременно обвиняет матерей в гиперопеке, продвигая услуги рынка психологического консультирования по «предотвращению детской травмы».

## «ДОБРАЯ» VS. «ХОРОШАЯ»

Представляя свое исследование на лекциях и семинарах, я обнаружила, что тема «сложных отношений с мамой» является универсально-острым предметом для дискуссии практически в любой аудитории. Рассказывая о своем семейном опыте в качестве введения в теорию материнства<sup>9</sup>, я постоянно встречаю живой интерес и желание поддержать диалог. Как оказалось, мой случай весьма типичен и может послужить точкой входа, необходимой для понимания того, как индивидуальные эмоции отражают общественную структуру.

Если кратко, мы с моей мамой хотя и довольно редко, но переживаем серьезные конфликты, которые, как правило, касаются разницы в представлениях о том, что «хорошо» для меня. Обычно речь идет об избыточной, с моей точки зрения, заботе, которой мама стремится меня окружить. В некоторых случаях мамыны соображения, продиктованные стремлением быть «хорошей матерью», противоречат моим взглядам на мое благо. Порой из страха перед тенью «неблагодарной дочери»

- 8 Щитцова Т.В. *Индивидуальная терапия как социальная практика и как интерсубъективный опыт* // Сборник научных статей и рабочих материалов к докладам участников II Международной конференции «Философия и психотерапия» СПб.: Анатолия, 2014 (далее цитируется по электронной версии: <http://hpsy.ru/public/x6366.htm>).
- 9 Корпус текстов, сформировавших теоретическую традицию в изучении материнства, был написан на волне женского движения в 1970-е годы такими исследовательницами, как Нэнси Чодороу, Адриен Рич, Сара Раддик, Энн Оукли.

АННА ШАДРИНА  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»...



я уступаю ей наперекор собственным интересам. Осознавая свою зависимость от образа «хорошей дочери», я не могу не сочувствовать желанию мамы соответствовать стандарту «хорошей матери». Проблема осложняется тем, что и у меня, и у мамы, помимо требований к себе, есть определенные ожидания в отношении друг друга, связанные с нашими семейными ролями. Эти требования часто находятся в конфликте с ожиданиями. Обижаясь на мамино желание видеть меня «безупречной», я не осознавала, что сама ожидала от нее отказа от ее собственного мировоззрения в пользу моего только на том основании, что она моя мать. Другими словами, для меня мама «хорошая», когда она попирает свои ценности, ориентируясь на мои интересы. Я «хорошая» для мамы, если разделяю ее взгляды. Таким образом, «хорошая мама» моего воображения может не совпадать с «хорошей мамой» в воображении мамы. Иначе говоря, быть «хорошими» друг для друга часто означает «предать самих себя».

Собирая женские истории с 2005 года, я обнаружила, что предмет моего беспокойства не уникален. Многие мои собеседницы упоминали чувства вины и обиды как следствие нереалистичных требований и ожиданий вне зависимости от того, какую из сторон в дочерне-материнских отношениях они занимают. Ниже я приведу и проанализирую несколько цитат из интервью с участницами моего исследования.

«Когда несколько лет назад умерла моя мама, я ушла жить отдельно, оставив мужа и дочь вдвоем. Я всегда хотела жить одна, но не могла себе этого позволить, потому что должна была быть хорошей мамой и женой, и вообще хорошей. А после смерти мамы я поняла, что мне больше не для кого быть хорошей мамой. Мне вообще больше не надо быть мамой. Я знаю, что они оба справятся без меня. Дочка уже взрослая, и муж не ребенок».

Из многих интервью становится понятно, что эталон «хорошей дочери» определяет отношения женщины не только с матерью, но и с ее детьми. В данном фрагменте информантка говорит о том, что в ее случае быть «хорошей дочерью» для нее означало выбирать стратегии, которые распознаются как поведение «хорошей матери».

Эта цитата представляется мне крайне важной с точки зрения работы механизма воспроизводства материнства, о котором писала Нэнси Чодороу<sup>10</sup>. В перспективе Чодороу семейная социализация в гендерно-сегрегированном обществе с раннего детства навязывает устойчивые роли и идентичности, определяющие направление жизненных траекторий.

10 Чодороу Н. *Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола. Половая идентификация и воспроизводство материнства // Антология гендерной теории*. Минск: Пропилеи, 2000. С. 29–76.

«Мама постоянно звонит мне и спрашивает, ела ли я, тепло ли одета. Ее контролирующая забота меня раздражает. Ужас в том, что я полностью воспроизвожу это со своим сыном. Я все время думаю о том, где он, ел ли. Он, как и я, реагирует: “Мама, отстань!”. Когда мы развелись с мужем, я была в шоке. Оказалось, что он может выйти из обязанностей, а я нет. Я должна отвечать буквально за все. Если я хочу, чтобы ребенок общался с отцом, я должна это организовать, проявить инициативу. Он может легко не учитывать расходов на содержание ребенка. Например, потратиться на отпуск, а на мою просьбу выделить деньги на одежду или учебу сыну сказать: “Денег нет”. Мне так сказать некому. Мне просто нужно их иметь, иначе нам нечего будет есть».

На мой взгляд, данный фрагмент весьма эксплицитно отражает работу гендерных режимов, создающих условия для возникновения драматической привязанности между матерью и «ее» ребенком. Гиперопеку, таким образом, можно понимать как аффект гиперответственности, которая общественным устройством возлагается на мать вне зависимости от ее желаний. Гиперопека и ее структурная причина – гиперответственность – также воспроизводятся из поколения в поколение. Интересно, что, переживая эксцесс материнской заботы как стратегию «плохой матери» в отношении себя, информантка повторяет ее со своим сыном в качестве стратегии «хорошей матери». То есть представления о приемлемых материнских практиках зависят от той семейной роли, с которой ее оценивают.

«Я обвиняла маму за плохое ко мне отношение – и наказывала своего сына за это, как бы копируя ее. У нас с ней была долгая история любви и ненависти, поэтому я никогда не стремилась к собственному материнству. Но тут неожиданно случилась семья, и в ней бабушка с дедушкой бредили внуком или внучкой, молча ждали с умоляющими глазами пару лет, а я их полюбила».

Парадоксальность ситуации, описанной участницей исследования, состоит в том, что быть «хорошей дочерью» «плохой» в ее воображении матери означает быть также «плохой матерью», то есть перенимать педагогические приемы, не соответствующие ее представлениям о приемлемых (из перспективы сегодняшнего дня) практиках заботы. Собеседница говорит о том, что к своему репродуктивному выбору она приходит через лояльность ценностям родителей мужа, в противовес тому мировоззрению, которое, как она считает, сложилось в результате ее взаимодействий с собственной матерью. То есть можно предположить, что материнство рассказчицы в данном случае становится условием, при котором она может стать «хорошей приемной дочерью» своих «новых хороших родителей».



«Раньше я хотела детей. А сейчас нет. Я иногда завидую женщинам, которые “отстрелялись” в юности. Чем старше ты, тем страшнее решиться изменить свою жизнь раз и навсегда. Ребенок – это не мужчина. Его не выставишь за дверь, если он тебя утомил. Я думаю, что если забеременею, то сделаю аборт. Рожать буду потом. Специально для мамы».

Репродуктивные и родительские стратегии в опыте моих информанток оказываются тесно спаянными с семейными функциями, которые в гендерно-сегрегированном обществе натурализируются как женские, передаются из поколения в поколение и регулируются под воздействием культурных идеалов «хорошей матери» и «хорошей дочери». Стандарты «хорошей матери» и «хорошей дочери» одновременно выступают и политическими категориями, вызывая сложные эмоциональные аффекты.

Арли Рассел Хохчилд объясняет, что в обществе, поддерживающем традиционное гендерное разделение, социализация, возложенная на мать, разворачивается в целом по двум возможным сценариям. Мать либо передает ценности того порядка, в котором была воспитана сама, либо мотивирует детей (чаще дочерей, в связи с тем, что сыновьям обычно прививаются отдельные ориентиры) этому порядку сопротивляться. Нередко транслируя несправедливые в отношении женщин нормы, матери вынуждены выбирать между тем, чтобы быть «хорошими матерями» или «добрыми», что в данной парадигме не является тождественными категориями. Хохчилд показывает, что в обществах, функционирующих в интересах отдельных групп, более высокий статус для угнетенного класса становится доступным посредством угнетения менее защищенных в интересах угнетателей<sup>11</sup>.

Так, например, в Китае до XX века существовала традиция женского бинтования ног<sup>12</sup>. Маленьким девочкам из обеспеченных семей калечили кости ступней, чтобы прекратить их рост. Представления о красоте формировались популярной легендой о том, что маленькая ножка определяет форму вагины, увеличивая наслаждение сексуального партнера. Женщины с травмированными ногами не могли свободно ходить и выполнять физическую работу, но высоко ценились на брачном рынке как усовершенствованные инструменты блаженства. Китайские матери веками ломали ноги своим дочерям, подчиняясь действовавшему порядку. В патриархатной системе, где правят мужские интересы и нет условий для женской солидарности для совместного противостояния несправедли-

11 HOCHSCHILD A.R. *The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work*. San Francisco; Los Angeles: University of California Press, 2003. P. 156–159.

12 ДВОРКИН А. *Гиноцид, или Китайское бинтование ног // Антология гендерной теории*. С. 7–28.



ности, старшие женщины зарабатывали привилегии, реализуя одобряемое поведение. В этой ситуации «хорошая мать» – та, которая калечит свою дочь, мать, щадящая свое дитя, – «плохая». В свою очередь идентичность «хорошей» дочери всегда связана с интернализацией материнских установок. Но в наше время структура нового общественного порядка актуализирует запрос на формирование индивидуалистских ценностей. Индивидуализация второго модерна часто конфликтует с домодерной моралью, с точки зрения которой поиск способов частной реализации может пониматься как обесценивание предшествующего опыта или «неуважение традиций».

Эмоциональные аффекты, сопровождающие ценностные конфликты, в этой перспективе служат механизмом регулирования лояльности семье или другому коллективу. Иначе говоря, «неспокойная совесть» выступает индикатором нарушения условий групповой принадлежности. Однако, «следование традициям» может сопровождаться переживанием «утраты самости». Таким образом, чувственные переживания – в данном случае в отношениях с матерью как с агентом или контрагентом действующего порядка – отражают не только различные групповые ценности, но и борьбу за властную позицию, с которой провозглашаются авторитетные смыслы.

## ЛЮБОВЬ, СТАТУС И ВЛАСТЬ

Рассматривать эмоции как эффект работы власти и связанных с ней статусов предложил Теодор Кемпер<sup>13</sup>. Властная позиция в перспективе социологии эмоций реализуется через понуждение к соблюдению условий, выдвигаемых субъектом власти, в то время как подчиненный статус ассоциируется с добровольным или принудительным признанием социальной разницы через выражение почестей или небрежения в случае протеста против навязываемой иерархии. По Кемперу, обладание достаточной властью и соответствующим статусом производит чувство безопасности и удовлетворения, избыточная власть может переживаться как вина, а недостаток власти запускает чувство страха. Эмоции, связанные со структурой отношений, зависят еще и от того, как личность артикулирует причину дисбаланса власти: сам(а) виноват(а) – другие виноваты. Неприятные эмоции, считает ученый, являются доступным способом протеста против эксцесса власти.

Работу власти в семейных отношениях и связанные с ней эмоции отмечает и Ева Иллоуз<sup>14</sup>. Исследовательница находит,

**13** THOITS P. A. *The Sociology of Emotions* // Annual Review of Sociology. 1989. Vol. 15. P. 317–342.

**14** ILLouz E. *Cold Intimacies*. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 3.



что основа общественного неравенства, формирующаяся вокруг гендерного разделения, фабрикуется, в том числе, посредством эмоциональной культуры. Социальная иерархия отсылает к разнице в эмоциональных проявлениях, воспроизводящих «мужские» и «женские» роли. «Мужественность» атрибутируется демонстрацией храбрости, хладнокровной рациональности и дисциплинированной агрессивности, «женственность» символизируется добротой, состраданием и жизнелюбием. Деморфистский идеал также является источником репрезентаций традиционных семейных ролей, связанных с разными эмоциональными дисплеями – «строгого отца» и «ласковой матери».

**Основа общественного неравенства, формирующаяся вокруг гендерного разделения, фабрикуется, в том числе, посредством эмоциональной культуры. Социальная иерархия отсылает к разнице в эмоциональных проявлениях, воспроизводящих «мужские» и «женские» роли.**

Стефани Шилдс и Бет Костер, анализируя американские руководства прошлого века по воспитанию детей, проследили, как формируется регламент родительского эмоционального поведения<sup>15</sup>. Авторы уточняют, что исследуемые ими тексты не свидетельствуют о реальном родительском опыте, но отражают идеологию, соответствующую времени. Согласно большинству «родительских учебников», от матерей и отцов ожидается проявление разных эмоций. В указанных текстах матери изображаются чрезмерно эмоциональными, их призывают контролировать чувства, «чтобы не нанести вреда психологическому развитию ребенка». Часто делаются намеки на то, что матерям лучше направлять свою любовь на супруга. Отцы в свою очередь описываются как имеющие тенденцию быть «более объективными» и отстраненными. Так, от матерей ожидается, во-первых, что они будут испытывать чувство любви, а во-вторых, будут направлять свои эмоции и выражать их определенным образом. Сложная система регуляции материнских эмоций этим не ограничивается. В воспитательных целях матерям рекомендуется преувеличивать эмоции, такие, как печаль, обнаружив, например, что ребенок что-то сломал(а). Эскалация реакции, по мнению педагогических экспертов, помогает научить воспитуемого(-ую) не принимать таких по-

15 SHIELDS S.A., KOSTER B.A. *Emotional Stereotyping of Parents in Child Rearing Manuals, 1915–1980* // *Social Psychology Quarterly*. 1989. Vol. 52. № 1 (special issue «Sentiments, Affect and Emotion»). P. 44–55.

ть слишком легкомысленно и уважать чужое имущество. В целях содействия самоуважению ребенка и развитию его/ее навыков матерей также приглашают преувеличивать выражение радости, поощряя отпрысков к достижениям и открытиям.

Таким образом, действующая культура, с одной стороны, предписывает матерям экзальтацию, с другой, – обвиняет их же в чрезмерной эмоциональности. В свою очередь, изображая отцов «эмоционально-холодными» от природы, патриархатный фольклор отстраняет их от участия в эмоциональном взаимодействии и, соответственно, в основных видах семейного труда, запрашивающих эмоционального вовлечения.

Прикладывая оптику Кемпера, позволяющую трактовать чувственные переживания как отклик на эксцессы власти в любых отношениях, я хочу еще раз рассмотреть механику гиперопеки в дочерне-материнской связи, вызывающей беспокойство в нарративах моих героинь.

Часто принимая участие в психотерапевтических группах и обсуждая со сверстницами «психологические проблемы», я обнаружила несколько довольно типичных сюжетов среди тех, которые обозначаются источниками болезненных переживаний на почве семейных конфликтов. Один из них я хотела бы привести.

Поводом для обращения за психологической помощью нередко служит излишнее, с точки зрения взрослых дочерей, стремление матерей быть включенными в их частную жизнь. Озвучиваться жалобы могут по-разному: «мама требует внимания, которого я не могу дать», «мама хочет быть в курсе всех моих дел», «мама хозяйничает в моем доме», «мама вмешивается в мои отношения с детьми/партнерами(-шами)/коллегами», «мама навязывает мне стандарты внешности/поведения». В подобных сюжетах, на мой взгляд, отражается целый комплекс проблем, которые не очевидны в силу действующих представлений о жертвенной материнской любви. В рамках популярной риторики о материнстве как о «предназначении» и «обязанности» женщин детско-родительские (материнско-дочерние в данном случае) отношения редко рассматриваются как двустороннее взаимодействие. Другими словами, жалобы на «вмешательства» матерей часто артикулируют погранные интересы одной стороны. Однако, если расспросить женщину, заявляющую о подобных проблемах, из чего складываются ее отношения с мамой, может оказаться, что мать осуществляет целый ряд полезных функций, обеспечивающих благосостояние дочери: помогает по хозяйству, присматривает за ребенком, поддерживает финансово.

Вклад матери в благополучие дочери может оставаться «невидимым» в идеологических обстоятельствах, навязывающих



идеи материнского должествования: мать «должна помогать» своим детям, ее интересы «должны» быть сосредоточены вокруг их интересов, ей это «ничего не стоит», ее усилия «не нуждаются в компенсации». В этой логике запрос матери на внимание трактуется как посягательство на частную территорию, но не рассматривается как доступный способ уравнивания различного рода затрат. При этом взрослые дочери часто объясняют, что «не смеют» занимать твердую позицию в отношении неприкосновенности своих границ, поскольку «это обидит мать» или приведет к «неразрешимому конфликту». Однако в действительности, как мне представляется, только признание эксплуатации материнской жертвенности и отказ от нее может укрепить подобную решимость.

В то же время «институт бабушек» для многих семей является единственной доступной стратегией выживания, отказ от которой может означать серьезное снижение уровня жизни. В результате часть моих современниц оказываются не готовыми отклонять разделение с матерью ответственности за поддержание жизнедеятельности, но не желает делиться семейной властью и компенсировать разного рода затраты.

В свою очередь женщины, выполняющие материнскую работу, нередко признаются в том, что проявляют гиперопеку, осознают это, но не знают, как позволить себе «ослабить хватку». Так, матери и дочери становятся заложницами общественной структуры, делегирующей матерям семейный труд, не оплачиваемый в исполнении любящих родственников, но приобретающий рыночную цену в руках наемных специалистов. На мой взгляд, это означает, что режим гиперопеки складывается не на уровне отдельной личности, но существует как ситуация, в которую вынужденно попадают женщины, становясь матерями в патриархальном обществе. Иначе говоря, культура асимметричного родительства, отстраняя других членов семей от приобретения навыков, связанных с осуществлением заботы, ставит женщин в ситуацию, при которой выполнять домашний труд «больше некому». Сконструированный контекст гиперответственности оборачивается отправлением гиперзаботы, «материнским перформансом», необходимым для поддержания одобряемого положения в условиях работы репрессивного института оценки материнских практик.

Современная концепция материнства, включая беспрецедентный набор компетенций, сравнимых с профессиональными, требует от женщин интенсивных и долгосрочных инвестиций. Становясь вследствие этого существенной частью идентичности, материнский статус, вместе с его рутинной и ответственностью, часто остается единственной доступной для конкретной женщины позицией власти в сложной системе

общественной иерархии. Кроме того, проявление излишней заботы (под которой я понимаю перехват ответственности в тех ситуациях, когда объект заботы в состоянии позаботиться о себе самостоятельно), на мой взгляд, может одновременно являться и доступным/привычным способом коммуникаций между матерями и детьми, чьи компетенции приобретаются в разные эпохи. Другими словами, забота как выражение любви может оставаться одной из немногих «общих» тем, понятных представительницам разных поколений.

Процесс перехода к ценностям второго модерна, означающим новое понимание субъектности, обнажает еще один аспект работы гендерных режимов в отношении матерей. Идеология индивидуализма выносит на повестку дня такие понятия, как «личное пространство», «самореализация», «предназначение». Однако в культуре асимметричного родительства и новой педагогической концепции, опирающейся на императив раннего развития, матери оказываются отстраненными от возможностей реализации новых ценностей. Обеспечивая другим членам семьи наилучший социальный старт / эффективное участие в системе рыночной экономики, сами матери продолжают воображаться не включенными в процессы индивидуализации и способными быть эмоционально-доступными для детей в режиме 24/7. Посягательство на «личное пространство», понимаемое как «психологическое насилие», не распространяется на зону материнства, поскольку практики заботы романтизируются дискурсами «счастья материнства» и «материнских обязанностей». В этом контексте я хотела бы остановиться на распространении дискурса популярной психологии и психотерапии в постсоветской части мира как политической технологии производства индивидов нового типа.

Более подробно меня будет интересовать моральная паника по поводу некомпетентности матерей в отношении психологических процессов, травмирующей неокрепший внутренний мир ребенка. Мой тезис состоит в том, что, оперируя стигматизирующими образами «слишком сильной любви матери» и «дефицита материнской любви», вульгаризированная риторика психоанализа укрепляет позицию нового экспертного института – рынка родительского консультирования. Отталкиваясь от опыта советского материнства, переозначенного в категориях принципиальной иной эпохи как негативного и травмирующего, новые эксперты по интенсивному родителюству адресуют современным матерям новый педагогический подход, запрашивающий непрерывную эмоциональную доступность и самодисциплину, а также неограниченное потребление. Используя симулякр «ребенка», которому угрожает опасность со стороны симулякра «неокультуренной ма-



тери», рынок услуг по спасению от детской психологической травмы продвигает свои товары при помощи идеи возможности исправления «советских педагогических ошибок» и создания условий для «жизни без боли».

## ДЕТСКАЯ ТРАВМА КАК ПРОДУКТ

Конечно, я далека от утверждения, что детской психологической травмы не существует. Однако в данном случае меня будет интересовать не столько реальная угроза непомерного для детской психики опыта, которая существует во все времена, сколько сверхновая алармистская риторика, конструирующая новые эмоциональные потребности и продвигающая новые товары и услуги для их удовлетворения.

Конвенциональный образ детства, как и одобряемый образ материнства, поддерживаясь многоступенчатым механизмом, воспроизводящим иерархии и регулирующим репрезентации эмоций согласно усвоенным социальным ролям, регламентирует не только способ самовыражения, но и способ осмысления опыта в конкретную эпоху. Так, в советский период доминирующей эмоцией, репрезентировавшей детство, было «счастье» – как свидетельство проживания «лучшего периода жизни» в «лучшей в мире стране». Изображение детского «несчастья» в культуре и быту не соотносилось с принципами «общества справедливости» и отдельных его «ячеек».

Среди моих собственных детских воспоминаний сохранилось немало событий, связанных со страхами, сомнениями и болью. Разумеется, «несчастье» не было моим единственным чувственным опытом в детстве. Я полагаю, что ассоциативный ряд «детство-травма», навязанный популярными трактовками психоанализа как преобладающей сегодня технологии производства знаний о личности, задает параметры рассказа о себе, выводя из фокуса внимания другие пространства памяти. При этом сама возможность обозначения неконвенционального детского опыта появилась лишь с распространением психотерапевтической риторики. До утверждения идеологии индивидуализма в моем распоряжении не было понятий, полезных для концептуализации моих детских переживаний, как не существовало и культуры вовлеченного расспрашивания о глубоких психологических процессах. Мне было «нечем» заявить о своей боли, равно как и моей маме «нечем» было меня слышать. До недавнего времени любые мои попытки выразить детские тревоги постфактум встречали возражение со стороны мамы: «У тебя было детство не хуже, чем у других». «Нежелание» моей мамы знать о моем детском «несчастье», как

мне кажется, отражает принципиальную разницу в способе мыслить детство «тогда» и «сейчас». Я «не могла» быть «несчастна», поскольку в категориях советских ценностей я росла в семье, в мирное время, была благополучно социализирована – то есть обладала всеми необходимыми условиями для счастливой жизни.

АННА ШАДРИНА  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»...

## **Ассоциативный ряд «детство-травма», навязанный популярными трактовками психоанализа как преобладающей сегодня технологии производства знаний о личности, задает параметры рассказа о себе, выводя из фокуса внимания другие пространства памяти.)**

Практика вызывания из недр памяти переживаний, подвергнутых цензуре, и интернализация понятия «психологической травмы» – результаты перехода от культурной логики, действующей при социализме, к новой либеральной капиталистической системе производства субъектов. С падением «железного занавеса» и приходом популярной психологии и психотерапии в постсоветское пространство к функции контроля над эмоциями присоединяется рынок и тот новый экспертный институт, который его представляет. На почве концепции «раннего развития» и интенсивного материнства «детская психологическая травма» одновременно становится политической категорией, дисциплинирующей родителей, и маркетинговой стратегией, вынуждающей активно потреблять в новом бизнес-сегменте, «ответственном» за психологическое здоровье. Основной тезис современной педагогической парадигмы исходит из идеи возможности создания идеальных условий для формирования абсолютно счастливого индивида, избавленного от психологических, прежде всего, страданий. Стандарт жизни без эмоциональной боли сегодня видится возможным за счет «безусловной родительской любви», которая является эвфемизмом круглосуточного вовлечения матерей в процесс удовлетворения психологических потребностей Ребенка.

В популярных медиа редко осознается тот факт, что способ взаимодействия с ребенком, который сегодня обозначается как наилучший и всецело способствующий полноценному развитию, артикулируется из принципиально новой системы координат по сравнению с той, которой руководствовались «советские мамы». Таким образом, на мой взгляд, с появлением нового понятийного аппарата, заимствованного у психоаналитического дискурса, возникает не столько возможность «вспомнить и рас-





сказать» о своем детстве, сколько сконструировать нарратив о себе, адекватный сегодняшней идеологии. При этом в действующем общественном порядке, делегирующем женщинам социализацию подрастающих поколений, у матери фактически нет шансов избежать обвинений в несовершенстве мира. Так, «эмоционально некомпетентная советская мать» назначается ответственной за те трудности, с которыми сталкиваются современницы(-ки), шагнувшие в новый неустойчивый мир второго модерна. Наиболее частый упрек в адрес «советских матерей» как некой гомогенной группы, озвучиваемый современными экспертами по предотвращению детской психологической травмы, отсылает к эмоциональной отстраненности или «дефициту любви». Поколения людей, переживающих в настоящее время репродуктивный пик, воспитанных в советскую эпоху, тем самым приглашаются «постфактум» диагностировать у себя «недолюбленность» со стороны матери в категориях принципиально отличной от советской системы ценностей.

Обозначаемые как следствие «дефицита родительской любви» понятия «дефицита уверенности в себе», трудностей с «принятием себя» и способностью «принимать ответственность за свою жизнь» начинают возникать в публичной риторике постсоветских стран лишь в самом конце XX века. Наши родители, воспитывая нас, такими категориями руководствоваться не могли. Они их просто не знали. В контексте проекта индивидуализации новое понимание личности, как и концепция ее раннего развития, популярно трактуется «более прогрессивным знанием» по отношению к прежнему «отсталому» мировоззрению. Однако вне оценочных категорий ценностный переход является результатом смены общественно-экономического строя. Осмысливая и концептуализируя трансформацию культурной логики, Татьяна Щитцова объясняет, что новая ценность индивидуальности становится возможной в результате прихода в постсоветский мир индивидуального предпринимательства и индивидуальной психотерапии, «работающей» с новым типом субъектности<sup>16</sup>. Щитцова показывает, что индивидуализация становится новым способом конструирования личности, не известным советским людям, которые воспитывались в обществе, где идеология выполняла квазирелигиозную функцию, придавая человеческой жизни высший смысл в контексте служения общим интересам. В этой связи любопытно, что на части постсоветского пространства идеологической основой для утверждения второго модерна становится дистанцирование от советского опыта. Изучая новую родительскую культуру, и в частности практики «естественного родительства», Екатерина



Белоусова демонстрирует, что модная в России фиксация на приватности и индивидуальности связана с течением нью-эйдж, проникшем в СССР в позднесоветскую эпоху, которое с перестройкой превращается в бизнес<sup>17</sup>.

В начале XXI века, пережив новое понимание психологического мира человека, бывшие советские граждане и гражданки начинают переосмысливать свой советский опыт в категориях, пришедших с капитализмом. Дефиниции «детской психологической травмы» и дефицита доверительных разговоров между членами семьи принимают форму маркетинговых стратегий наряду с другими «изобретениями» информационной экономики, такими, как, например, целлюлит и перхоть.

В новой капиталистической логике, нацеленной на «эффективность», «обнаруживаются» новые «изъяны» личности. Предлагая избавление от неровной поверхности тела, атрибутов жизнедеятельности и «несчастья», рынок создает новые потребности, связанные с потреблением товаров и услуг нового типа. В этой связи, как мне кажется, популярность концепции «естественного родительства» в нашей части света может пониматься как проективный способ переозначивания советского опыта детства, который в перспективе современного детоцентризма представляется однозначно «несчастливым». Обнаружив в себе страдающего от дефицита любви «внутреннего ребенка», мои сверстницы и сверстники стремятся «исправить ошибки» своих родителей посредством воспитания нового поколения, избавленного от боли и страхов. Так мои соотечественники и соотечественницы в очередной раз попадают в идеологическую ловушку принудительного счастья.

Несмотря на всю свою эфемерность, знак счастья является реально действующей дисциплинирующей категорией. В культуре принудительного счастья любые жизненные сложности, препятствия на пути к удовлетворению желаний и неудачи описываются не как условия для развития личности, но как провал взрослых, прежде всего матерей, не сумевших обеспечить эмоциональную безопасность для своих детей. Многочисленные популярные трактаты о «слишком сильной» или «недостаточной» материнской любви назначают источником едва ли не всех социальных проблем «особую психологическую структуру женщин». Эксцесс материнской власти в мейнстримной риторике обозначается не как эффект гиперответственности, но как следствие «личной неустроенности» матери, в которой она, разумеется, сама виновата. Отталкиваясь от идеи универсальности так называемого «Эдипова треугольника», данная объяснительная модель безапелляционно утверждает,

АННА ШАДРИНА  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»...

**17** БЕЛОУСОВА Е. *The Preservation of National Childbirth Traditions in the Russian Homebirth Community* // SEEFA Journal. 2002. Vol. VII. № 2. P. 50–54.



что все женщины в равной степени нуждаются в романтическом партнере. Гетеросексуальный союз наделяется значением наилучшей формы организации быта, другие жизненные уклады описываются в категориях нехватки и неудачи. Рассуждая о новой родительской культуре в терминах традиционалистской риторики, эксперты по дефициту/профициту материнской любви утверждают, что мать либо сублимирует за счет связи с ребенком «нереализованное романтическое чувство», либо игнорирует потребности ребенка, реализуя свои чувственные потребности в романтическом союзе. Описывая разнообразные процессы и динамики через узкую и предвзятую линзу обязательной/принудительной гетеронормативности, обвинители матерей последовательно игнорируют тот факт, что в действительности не все люди организуют сети поддержки и заботы вокруг гетеросексуальной пары. В условиях ослабления брачной нормы современники и современницы образуют ассамбляжи самых разных конфигураций, «невидимые» для традиционалистской концептуальной рамки, которая вместо многообразия человеческих связей везде видит мать, дитя и отсутствующую, но подразумеваемую мужскую фигуру.

В контексте «негативного» опыта советского материнства, служащего отправной точкой в современной дискуссии о «детской психологической травме», мне хотелось бы упомянуть книгу Светланы Алексиевич «Последние свидетели», в которой реальная травма войны, пережитая детьми, артикулируется еще из советского опыта. Интересно, что по контрасту с современной обличительной риторикой в адрес матерей повзрослевшие дети, пережившие военную катастрофу, рассказывают о своих матерях с чрезвычайной нежностью и теплотой<sup>18</sup>. Детские голоса из книги Алексиевич дают возможность обнаружить зыбкость фигуры «советской матери», служащей пугалом в современном дискурсе о детской психологической травме.

Противоречивая риторика текущего периода мистифицирует и фигуру Ребенка. Недавно в дискуссии об ответственности матерей за психологическое здоровье всего общества одна из моих собеседниц озвучила расхожую идею:

«Чрезмерно опекая своих детей, матери, создают условия, в которых новые поколения вырастают не способными за себя отвечать».

Это высказывание, на мой взгляд, эксплицитно демонстрирует тезис Ли Эдельмана о том, что риторическая фигура Ребенка не равна реальным детям и является дисциплинирующей категорией, направляющей жизненные траектории индивидов в «светлое» капиталистическое будущее с его центральным

18 Алексієвич С. *Апошнія сведкі: кніга недзіячых расказаў*. Мінск: Юнацтва, 1985.

понятием эффективности<sup>19</sup>. В этой связи было бы любопытно попытаться понять, об образе ребенка какой эпохи печется алармистский дискурс.

Мое поколение было воспитано в культурной логике, в которой психологическому климату вокруг отдельного ребенка не придавалось особого значения. Понятия ответственности и самостоятельности в терминах моей собеседницы во времена нашего детства не были распространены. Иначе говоря, наши матери не готовили нас к рыночной действительности, не предполагая, что нам придется с ней столкнуться. Вместе с тем, поколения, растущие в новую эпоху, еще только входят во взрослую жизнь и начинают выходить, в частности, на рынок труда. С этой точки зрения, когорты, идущие за нами, также не соответствуют образу Ребенка, пострадавшего от последствий эксцесса/дефицита материнской любви, поскольку о «последствиях» судить довольно рано. Таким образом, Ребенок, охраняемый риторикой защиты от пагубного влияния матери, по сути является пустым знаком, отсылающим, в терминах Ли Эдельмана, в воображаемое прошлое и всегда невозможное будущее<sup>20</sup>. В свою очередь моральная паника по поводу детской психологической травмы служит рычагом утверждения нового института экспертов по «прогрессивному» родительству, предлагающему свои коммерческие услуги. Концептуализируясь в категориях индивидуализма, новое понимание заботы о детях при этом не предполагает индивидуальной ценности и частных интересов матери, которая воображается не включенной в современный рынок труда.

Идеи нехватки и избытка материнской любви, являясь выражением смутного общественного беспокойства по поводу последствий второго демографического перехода, смены социально-экономических режимов и растущего напряжения между семейными и профессиональными обязанностями, не осмысливаясь критически в постсоветских реалиях, лишь оборачиваются против женщин, заботящихся о детях.

АННА ШАДРИНА  
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»...

19 EDELMAN L. *No Future: Queer Theory and the Death Drive*. Durham: Duke University Press, 2005.

20 Ibid. P. 31.

